Нона Карамазова

Кофе за наличку

Остросюжетный роман о любви и молчании



18+

Нона Карамазова

Кофе за наличку

«Автор»
2026

Карамазова Н.

Кофе за наличку / Н. Карамазова — «Автор», 2026

Он мягко запустил пальцы в рыжие волосы Нади и поднял взгляд на запотевшее лобовое стекло. По стеклу текла вода, дворники отсчитывали секунды, внизу расплывались огни порта.Вера никогда не была в той машине. Но видела эту сцену сотни раз — до последней капли на стекле. Надя — её лучшая подруга. Он — мужчина, которого Вера любила.Вопрос не в том, было ли это. Вопрос в том, когда она узнала.Потому что у Веры есть своя тайна. Маленькая кофейня на реке, где выручка втрое больше, чем может вместить зал. Папка за зимними свитерами. Деньги, которые приходят на её счёт каждый квартал. И два звонка в ночь, когда её бывшего нашли подо льдом, — звонки, на которые она не ответила.Теперь следователь хочет знать, что она знала. А Вера впервые не может сосчитать, кто кому должен.

© Карамазова Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая 6
Глава 1. Всё было просто 7
Глава 2. Стандарт 12
Глава 3. Белые камни 17
Глава 4. Двести четырнадцатый 22
Глава 5. Посадка 27
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Нона Карамазова
Кофе за наличку

Нона Карамазова

КОФЕ ЗА НАЛИЧКУ

Остросюжетный роман о любви и молчании

18+

Аннотация

Он мягко запустил пальцы в рыжие волосы Нади и поднял взгляд на запотевшее лобовое стекло. По стеклу текла вода, дворники отсчитывали секунды, внизу расплывались огни порта.

Вера никогда не была в той машине. Но видела эту сцену сотни раз — до последней капли на стекле. Надя — её лучшая подруга. Он — мужчина, которого Вера любила.

Вопрос не в том, было ли это. Вопрос в том, когда она узнала.

Потому что у Веры есть своя тайна. Маленькая кофейня на реке, где выручка втрое больше, чем может вместить зал. Папка за зимними свитерами. Деньги, которые приходят на её счёт каждый квартал. И два звонка в ночь, когда её бывшего нашли подо льдом, — звонки, на которые она не ответила.

Теперь следователь хочет знать, что она знала. А Вера впервые не может сосчитать, кто кому должен.

Часть первая

Мёртвые гости

Глава 1. Всё было просто

— Всё было просто, — сказала я.

Следователь Волкова кивнула и положила карандаш на стол. Не ручку — карандаш, обычный, жёлтый, с ластиком на конце, сточенный почти до половины. Человек, который сейчас пишет протокол карандашом, либо очень старомоден, либо хочет таким казаться. Мне не понравился ни один из вариантов.

Кабинет был на третьем этаже, окно выходило на парковку. За стеклом лежала мартовская каша — серая, с чёрными корками у бордюров. Батарея под подоконником жарила так, что воздух над ней дрожал, и в комнате пахло нагретой пылью и мандаринами. В корзине у стола лежали оранжевые спирали кожуры. Кто-то здесь чистил мандарины одной лентой, не отрывая. Я бы поставила на Волкову.

Ей было за сорок. Серый кардиган с катышками на локтях. Кольца нет, а светлая полоска от кольца есть. Короткие ногти без лака, на указательном пальце — серый след от грифеля. Я замечаю такие вещи не потому, что я внимательная. Это профессия. Меня долго учили — сначала на экономическом, потом в банковском аудите, потом в фирме, — что люди врут часто, цифры реже, а вещи почти никогда. Чек не умеет смущаться. Выписка не умеет делать вид, что её не было.

— Хорошо, — сказала Волкова. — Тогда расскажите просто. С самого начала.

— С какого начала?

— С того, которое вы сами считаете началом.

Она сказала это мягко, почти по-дружески, и подвинула ко мне кружку с водой. У кружки был отбит край ручки, и Волкова повернула её целой стороной ко мне. Вежливость. Или ловушка. Начало — это выбор. Кто выбирает, с чего начать, тот выбирает и то, что останется до начала. За дверью.

Я выбрала апрель.

* * *

В Северную Гавань я приехала за неделю до первого рабочего дня и потратила эту неделю на то, чтобы научиться не мёрзнуть. Здесь ветер приходит с залива раньше весны и уходит позже осени. Он не дует — он проверяет. Залезает под воротник, в рукава, в щель между шарфом и шеей, как будто ищет, что ты прячешь.

Я сняла однокомнатную квартиру на пятом этаже старого дома недалеко от рыбного рынка. Хозяйка, сухая женщина в мужской куртке, показала, как поворачивать ключ: «До щелчка, потом ещё чуть-чуть, иначе не закроется, проверено». В окне были портовые краны — пять штук, жёлтые, с длинными шеями. В первый вечер я долго на них смотрела. Они поворачивались медленно, по одному, будто советовались.

В первую ночь я проснулась в два.

Я просыпаюсь в два часа ночи с одиннадцати лет. Не без пяти и не в четверть третьего. В два. Встаю, иду по квартире, проверяю, все ли дома. В детстве дома обычно никого не было: мама работала в ночную смену на станции в Ольховске, а когда не работала, тоже где-то была. Я обходила пустые комнаты, пила воду из-под крана и ложилась обратно. Привычка осталась. Теперь я проверяю замок — до щелчка, потом ещё чуть-чуть — и смотрю в телефон. Врачи говорят, это ничего страшного. Я с ними согласна.

В ту ночь краны стояли неподвижно, подсвеченные снизу, как декорации в пустом театре. На телефоне было одно сообщение, от Лизы: «Ну что, северянка, жива?» Я ответила: «Жива. Тут краны». Она прислала сердечко и спящий смайлик. Лиза всегда спит, когда нормальные люди спят. Я ей немного завидую.

* * *

Фирма называлась «Рубин и Бахметьев» и занимала седьмой этаж бывшего здания пароходства. Кирпичная коробка, в которую вставили стекло так, что кирпич теперь выглядел как старое пальто на новом человеке. В холле стоял якорь. Настоящий, ржавый, огороженный бархатным канатом, с табличкой про год постройки. Через два месяца я перестала его замечать, а в первый день обошла дважды, пока искала турникет.

Турникет меня не пустил.

Я приложила пропуск — красный свет. Ещё раз — красный. Сзади уже кто-то вздыхал — так, чтобы я слышала.

— Он не любит новеньких, — сказал кто-то сбоку. — Надо приложить и сказать «пожалуйста».

Высокий, сутулый, в свитере с кожаными заплатками на локтях. Я тогда подумала, что такие свитера носят только преподаватели в кино. В руке — металлический термос с наклейкой в виде кита. Он взял у меня пропуск, перевернул и приложил другой стороной. Загорелся зелёный.

— Пожалуйста, — сказал он турникету и вернул мне карточку. — Вы Лескова. Судебная бухгалтерия. Вас ждут к десяти, сейчас без двадцати. Значит, вы из тех, кто приходит заранее.

— А вы из тех, кто знает, когда кого ждут.

— Я из тех, кто читает рассылку. Её больше никто не читает. Вячеслав. — Он протянул руку. Сухая, тёплая, короткое пожатие. — Взаимодействие с налоговой. Если по-человечески — перевожу с налогового на русский и обратно.

— И как, похоже получается?

— Иногда. Пойдёмте, покажу вам кофемашину. Это важнее, чем отдел кадров.

Кофемашина стояла на кухне у окна, огромная, хромированная, с экраном на восемь кнопок.

— Запоминайте, — сказал Вячеслав. — «Эспрессо» делает американо. «Американо» делает чай. Чай она не делает вообще, это её принципиальная позиция. «Капучино» работает, но только по вторникам. Я не шучу. Я вёл статистику.

— Вы вели статистику кофемашины?

— Полгода. У меня есть таблица. Прислать?

Я сказала, что да. Он прислал её через двадцать минут, пока я сидела в отделе кадров и подписывала обязательство о неразглашении. Таблица была аккуратная, с датами, с цветной заливкой. Внизу стоял итог: «Капучино по вторникам: 91%. В остальные дни: 12%. Вывод: машина знает, какой сегодня день, и это пугает».

Я засмеялась вслух. Девушка из отдела кадров — Инга, три серьги в одном ухе — подняла на меня глаза. Видимо, обязательство о неразглашении редко кого-то смешит.

* * *

Вячеслав провёл меня по этажу. Это заняло полчаса, хотя этаж можно было обойти за пять минут. Он останавливался у каждого стола и рассказывал не кто здесь сидит, а как с этим человеком разговаривать.

— Это Марина. Корпоративное право. Ей нельзя говорить ничего, что вы не хотели бы завтра услышать от уборщицы. Не потому что она злая. Она просто очень общительная.

Марина, полная, в ярко-зелёной блузке, помахала мне поверх монитора, не прерывая телефонного разговора.

— Это стол партнёра Рубина. Рубина здесь никто не видел с ноября. Говорят, он в Португалии и у него виноградник. Это неправда, но звучит хорошо.

— А Бахметьев?

— Бахметьев здесь всегда. Приходит в восемь, уходит в девять. Иногда мне кажется, что он здесь ночует, но статистику я не вёл. — Он помолчал. — Пока.

Я считала. Это ещё одна привычка, которой я не горжусь. Четырнадцать рабочих столов в открытом пространстве. Три переговорные. Шесть цветов в горшках, из них два мёртвых и один при смерти. Девять человек на местах в десять двадцать утра понедельника. Числа успокаивают. Если знаешь, сколько чего в комнате, знаешь, как из неё выйти.

У третьей переговорной Вячеслав замедлил шаг.

Стены там были стеклянные. За стеклом стояли четверо: две женщины, парень в худи и мужчина у доски. Мужчина писал маркером. Рукава рубашки закатаны до локтя, левый чуть выше правого. Он писал левой рукой, и буквы клонились не в ту сторону, будто бежали назад. На доске было: «НДС → вычет → риск?» — и большой кривой вопросительный знак.

Он что-то сказал, и трое засмеялись. Парень в худи согнулся пополам. Одна из женщин закрыла лицо папкой. Сам мужчина не смеялся — только дёрнул углом рта, как человек, который знает, что пошутил хорошо, и не собирается это обсуждать.

Потом дверь в конце коридора открылась, и вошёл Бахметьев. Я узнала его сразу, хотя никогда раньше не видела: седой, в тёмно-синем костюме, с той походкой, которая бывает у людей, привыкших, что двери перед ними открывают заранее. Он прошёл мимо переговорной и коротко глянул внутрь.

Лицо мужчины у доски закрылось. Не изменилось — именно закрылось, как крышка ноутбука. Секунду назад там было что-то живое, а теперь ровная серая поверхность. Он повернулся к доске и стёр вопросительный знак.

— Громов, — сказал Вячеслав вполголоса. — Артём. Руководитель группы налогового консалтинга. Лучший в здании, только не говорите ему, он не поверит. Он на работе вообще ничего не показывает. Ни радости, ни злости. Говорят, у него есть чувство юмора, но его видели только свои.

— А вы свой?

— Я — да. — Вячеслав отпил из термоса. — Но и я не всегда вижу.

Громов поднял глаза. Через стекло, через коридор, поверх головы парня в худи. Он посмотрел на меня секунды две, не больше. Без улыбки и без интереса — так смотрят на новую строку в таблице, которую ещё не проверили.

Я отвела взгляд первой. Я всегда отвожу взгляд первой. Это экономит время.

* * *

Мне дали стол у окна, в углу, рядом с мёртвым цветком. Окно выходило на залив. Краны отсюда тоже было видно — маленькие, дальние, похожие на жёлтые скрепки. Я поставила на стол свою кружку, белую, без надписей, разложила ручки по цвету, открыла ноутбук и полчаса воевала с почтой.

Около часа ко мне подошёл Вячеслав с двумя пластиковыми контейнерами.

— Обедать у нас принято на кухне, — сказал он. — Но в первый день можно не как принято. Гречка с грибами или гречка с курицей. Это не вопрос вкуса, это вопрос того, что осталось в столовой на первом этаже.

— С грибами.

— Я так и думал.

— Почему?

— Люди, которые раскладывают ручки по цвету, не доверяют курице из столовой.

Мы ели у моего окна. Он рассказывал, как устроена фирма: кто кому подчиняется на бумаге, кто на самом деле и кого не стоит ставить в копию. Я слушала и запоминала. Говорил он легко, без нажима, и при этом ни разу не сказал ни о ком плохо. Я заметила это, потому что сама так не умею.

— А вы откуда? — спросил он, когда гречка кончилась.

— Из Ольховска. Это север, маленький город, вы не знаете.

— Знаю. Там станция и река, которая зимой парит. Я был там однажды в командировке. Очень красивый и очень грустный город.

— Да, — сказала я. — Примерно такой.

— А до нас?

— Банковский аудит. Три года.

— Почему ушли?

Это был простой вопрос, и у меня был на него простой ответ. Хотелось работать с живыми делами, а не с отчётами, которые никто не читает. Хотелось другой город. Хотелось денег побольше. Всё это было правдой. Я сказала всё это — именно в таком порядке, — и Вячеслав кивнул.

У меня был бывший. Кирилл. Мы расстались почти год назад, тихо, без битой посуды. После нас осталась кофейня в Ключевске — его кофейня, но с моей долей, потому что когда-то я вложила туда всё, что накопила, и так и не забрала. Раз в месяц я туда ездила: подписать бумаги, посмотреть отчёт, выпить кофе, который Кирилл варил хуже, чем думал. Его мама вела бухгалтерию и каждый раз спрашивала, не похудела ли я.

Ещё у меня была мама, которая звонит раз в год, на мой день рождения, и путает число.

Ничего из этого не имело отношения к делу. Ничего из этого я Вячеславу не сказала.

Тогда это казалось правильным.

* * *

Вечером я задержалась. Не потому, что было много работы, — в первый день работы не бывает, бывают пароли. Просто не хотелось в квартиру с кранами. К половине девятого этаж опустел. Горел только свет в кабинете Бахметьева, и гудела на кухне кофемашина, которая, видимо, тоже здесь ночевала.

Лифт уже закрывался, когда в щель между створками легла ладонь. Левая. Двери послушно разъехались.

Громов вошёл, кивнул мне и нажал на первый этаж, хотя кнопка уже горела. Встал у противоположной стенки. Пальто нараспашку, без шарфа, в руке ключи от машины. Лифт поехал.

Семь этажей — это довольно долго, если молчать.

— Вы новая судебная, — сказал он на пятом. Не вопрос.

— Лескова.

— Вячеслав уже показал вам кофемашину?

— И таблицу.

— Не верьте таблице. — Он смотрел на табло с номерами этажей, не на меня. — По вторникам она тоже врёт. Просто реже. Слава этого не видит, потому что любит закономерности.

— А вы не любите?

— Я люблю исключения. За них платят.

Двери открылись. В холле было темно, только у турникетов горела дежурная лампа, и якорь отбрасывал на пол длинную рыжую тень.

— Осторожно, — сказал Громов. — Тут якорь.

— Я заметила. Дважды.

Он посмотрел на меня — впервые за всю поездку — и дёрнул углом рта. Тем же движением, что утром в переговорной. Потом вышел через вращающуюся дверь прямо в ветер, без шапки, и не поднял воротник.

Семь этажей. Двадцать две секунды. Пять реплик, если считать мою последнюю.

Это ничего не значило. Я отметила это в голове так, как отмечают неподтверждённую операцию, — карандашом.

* * *

— Вы хорошо рассказываете, — сказала Волкова.

Она не записывала. Всё время, пока я говорила про турникет, кофемашину и гречку, карандаш лежал на столе ровно параллельно краю папки. Я ждала, что она возьмёт его хотя бы раз. Она не взяла.

— Спасибо.

— Это не комплимент. Наблюдение. — Она чуть наклонила голову. — Вы рассказали мне, сколько в офисе было цветов. Сколько из них мёртвых. Что у сотрудницы отдела кадров три серьги в одном ухе. И ни слова о том, зачем вы на самом деле ездили в Ключевск.

— Я сказала. Подписывать бумаги.

— Какие?

— Обычные. Протоколы собраний участников. Согласования. Отчёты.

— Вы их читали?

— Конечно.

Слово вышло слишком быстро. Я услышала это сама — так слышишь в чужом отчёте цифру, которая стоит на своём месте, но почему-то круглее, чем надо. Волкова тоже услышала. Ничего не сказала. Просто посмотрела на меня ещё секунду, и я снова отвела взгляд первой.

Батарея щёлкнула. На парковке кто-то не мог выехать задним ходом и сигналил — коротко, раздражённо, будто виновата была машина.

— Хорошо, — сказала Волкова. — К бумагам мы ещё вернёмся. Давайте пока про январь.

— Я ещё не дошла до января.

— Я знаю. — Она открыла папку. — Я вас немножко потороплю, ладно? Совсем немножко.

Из папки она достала лист. Распечатка, мелкий шрифт, таблица в несколько колонок: дата, время, номер, тип, длительность. Таких распечаток я видела сотни. Сухая, честная бумага. Смущаться она не умеет.

Волкова взяла карандаш. Впервые за час. Обвела две строки. Грифель шуршал по бумаге, и в тёплой тихой комнате этот звук был очень громким.

— Ночь с восьмого на девятое января, — сказала она. — Входящие. Ярцев Кирилл Андреевич. Два ноль четырнадцать. Два тридцать одна. Длительность — ноль. Оба раза.

Она развернула лист ко мне. Две строки в серых овалах. Я смотрела на них и думала, что грифель на мелованной бумаге всегда немного блестит. Если повернуть лист к окну, овалы будут видны даже после того, как их сотрут.

— Это его последние звонки, — сказала Волкова. — Больше он никому не звонил. Почему вы не ответили, Вера Сергеевна?

— Я спала.

Голос был ровный. Я проверяла его, пока говорила, как проверяют замок: до щелчка, потом ещё чуть-чуть.

— Там, в Тихозерье, ночью больше нечего делать, — сказала я. — Только спать. Дом старый, печка, к полуночи всё прогорает, становится холодно, залезаешь под два одеяла. Связь плохая, телефон ловит только на подоконнике. Я оставила его на подоконнике. Он был на беззвучном. Я каждый вечер ставлю его на беззвучный. Утром увидела, но было уже… — Я остановилась. — Утром я перезвонила. Никто не взял.

Волкова кивнула. Потом взяла карандаш и что-то записала. Коротко, в одну строку. Я не видела, что именно.

Карандашом.

Я смотрела, как она пишет, и вдруг поняла, зачем ей карандаш. Карандаш можно стереть. Тот, кто пишет карандашом, сразу видит, какие слова людям потом захочется стереть.

Глава 2. Стандарт

Май я помню таким, каким он выглядел снаружи. Снаружи всё было в порядке.

Я приходила к девяти без двадцати, прикладывала пропуск правильной стороной и говорила турникету «пожалуйста» — сначала в шутку, потом по привычке. Кофемашина по-прежнему делала чай вместо американо. Мёртвые цветы у моего окна кто-то унёс, полуживой остался. Я стала его поливать. Он не ожил, но и умирать передумал — застрял где-то посередине, как многие из нас.

Вячеслав обедал со мной по вторникам и четвергам. По вторникам мы брали капучино: таблица не врала. По четвергам он приносил из дома термос с чаем на двоих и рассказывал про «соседей» — так он называл налоговую инспекцию на Портовой.

— У меня там инспектор, Галина Петровна, — говорил он. — Двадцать лет стажа, ни одной улыбки. Я знаю про неё три вещи. Она разводит фиалки, болеет за наш хоккейный клуб и ненавидит, когда документы скреплены степлером. Только скрепками. Степлер для неё — неуважение.

— И что вы делаете?

— Вытаскиваю скобы. Каждую. Однажды вытащил четыреста двенадцать штук за вечер.

— Вы считали?

— Вы бы тоже посчитали.

Он угадал, и мне стало неловко, что он это заметил.

На третьей неделе мая пять дней подряд шёл дождь. Не ливень — гаваньский дождь, мелкий, косой, который не падает, а висит в воздухе и ждёт, когда ты в него войдёшь. В среду утром на моём стуле лежал зонт. Чёрный, большой, с деревянной ручкой. К ручке была примотана скрепкой записка, круглым почерком: «Верните, когда кончится дождь. В Гавани он не кончается, так что не возвращайте».

Я вернула на следующий день, сухой и аккуратно сложенный. Вячеслав взял его, ничего не сказал и убрал в шкаф. В пятницу снова пошёл дождь, и зонт снова лежал на моём стуле.

Вячеслав был хорошим парнем. Есть такие люди: они заботятся обо всех вокруг, ровно и без выбора, как батарея греет всю комнату, а не того, кто стоит ближе. Я так это и понимала. Мне было удобно так понимать.

* * *

Моё первое дело пришло на второй неделе. Сеть автомоек «Блеск», семь точек по городу. Владелец подозревал, что его директор закупает химию через однодневку и кладёт разницу в карман. Мне выдали двести четырнадцать счетов-фактур в трёх коробках из-под бумаги.

Стол в маленькой переговорной оказался мал, и я разложила счета на полу. Ходила между ними в носках, как по огороду. Марина заглянула, сказала: «Ого», — и через десять минут об этом знал весь этаж. Мне было всё равно.

Тридцать восемь счетов были датированы воскресеньями и праздниками. У поставщика, судя по его же сайту, по воскресеньям был выходной, и даже автоответчик говорил: «Мы отдыхаем, позвоните в понедельник». Это ещё ничего не доказывало: бумаги можно выписать в любой день. Доказала полоска.

Через все тридцать восемь счетов, в трёх сантиметрах от левого края, шла бледная серая полоса. Так печатает умирающий картридж. Счета были с октября по март, а картридж, судя по полосе, умирал один раз и недолго — она была одинаковой ширины на всех листах, с одним и тем же прерыванием посередине, похожим на тире. Тридцать восемь документов за полгода напечатали за один вечер, на одном принтере. Бумага не умеет врать. Она просто запоминает, что с ней делали.

Бахметьев прочитал мой отчёт стоя, у окна в своём кабинете, сказал: «Хорошо», — и вышел.

— Он сказал «хорошо»? — переспросил Вячеслав. — Вслух?

— Вслух.

— Это орден. Я здесь три года, мне он сказал «хорошо» один раз, и то по телефону, и, кажется, не мне.

В четверг в четыре у моего стола остановился Громов. Впервые после лифта.

— Лескова, у вас есть час?

— Смотря на что.

— На сеть стоматологий. — Он положил на мой стол тонкую папку. Левой рукой. — Налоговая насчитала им доход, которого клиент, по его словам, никогда не видел. Мне нужно понять, это ошибка инспектора или клиент нам врёт. Сколько вам нужно, чтобы доказать? Не заподозрить. Доказать.

— Неделя.

— У вас три дня.

— Тогда не мешайте мне три дня.

Он дёрнул углом рта и ушёл. Папка осталась.

Я сделала за два. Клиент врал. Вернее, врал не сам клиент, а его администраторы в двух клиниках из пяти: брали наличные мимо кассы, а в карточках пациентов писали «консультация, бесплатно». Я нашла это не в кассе — касса была чистая. Я нашла это в зуботехнической лаборатории. Каждая коронка заказывается под конкретного пациента, с его фамилией, слепком и номером зуба. За год лаборатория изготовила для двух клиник на сорок одну коронку больше, чем клиники поставили по документам. Сорок один человек ходил по Гавани с новыми зубами, за которые никто не заплатил. Зубы не врут.

Отчёт я отправила Громову в среду в шесть вечера. Ответ пришёл в двадцать три сорок. Одно слово: «Спасибо».

Я отметила время. Не знаю зачем.

— Он написал вам «спасибо»? — Вячеслав поднял брови над термосом. — Словами?

— Одним словом.

— Это почти признание в любви. Мне он за три года написал «ок» два раза. Один раз с маленькой буквы.

Я засмеялась, и Вячеслав засмеялся тоже, а потом вдруг замолчал и долго закручивал крышку термоса. Крышка была на резьбе, закручивалась в три оборота. Он сделал пять.

* * *

Первую субботу месяца я отдавала Ключевску.

Электричка шла два часа: сначала вдоль залива, мимо дач и лодочных станций, потом сворачивала от моря вглубь, через сосняк, к реке. Ключевск стоит на реке. Шестьдесят тысяч человек, один мост, один вокзал с часами, которые отстают на четыре минуты с тех пор, как я себя здесь помню. И гребная база на том берегу — длинные зелёные эллинги, лодочные сараи у самой воды, с широкими воротами прямо на реку. Там Кирилл тренировался до двадцати четырёх лет, пока не порвал плечо.

Кофейня называлась «Два весла». Бывшая лодочная станция на набережной: кирпич, большие окна на воду, под потолком — настоящее весло, его весло, с облезлой синей лопастью. Восемнадцать мест в зале и шесть на террасе. Терраса в мае не работала — с реки тянуло холодом.

Кирилл стоял за стойкой. Тёмные волосы, седина на висках, которая появилась у него в тридцать и которую он стеснялся, пока я не сказала, что ему идёт. Высокий, широкий, одно плечо ниже другого — с тех пор как порвал. Он двигался медленно и аккуратно, как человек, который привык, что вода держит его лучше, чем земля.

— Привет, — сказал он.

— Привет.

— Флэт уайт?

— Давай.

Он сделал флэт уайт. Как всегда, слишком горячий — молоко перегрето, пенка жёсткая, как губка для посуды. Я ни разу за шесть лет ему об этом не сказала. Сначала было неловко, потом поздно.

Татьяна Михайловна сидела за угловым столиком у окна, с ноутбуком и тремя папками. Маленькая, аккуратная, в бежевом джемпере, с жемчужными гвоздиками в ушах. Когда она встала меня обнять, запахло кремом для рук — миндальным, тем же, что и шесть лет назад.

— Верочка. Ты похудела.

— Нет.

— Похудела, я же вижу. Садись. Я сырников принесла. Кирилл, принеси Вере тарелку, что ты стоишь.

Сырники лежали в пластиковом контейнере, завёрнутом в кухонное полотенце, чтобы не остыли. Они не остыли. Татьяна Михайловна всегда всё делала так, чтобы не остывало: сырники, разговоры, людей.

— Олег Палыч передаёт привет, — сказала она. — Хотел сам приехать, но у него объект. Ты же знаешь, у него вечно объект.

— Передайте ему тоже.

— Передам. Ешь.

Я ела. Сырники были хорошие, с изюмом. Татьяна Михайловна рассказывала про соседку, у которой сын женился на девушке из Гавани, «такой же, как ты, только не такой умной», про давление, про то, что Кирилл опять не носит шапку. Кирилл стоял за стойкой и делал вид, что не слушает.

Ей позвонили посреди рассказа про давление. Она посмотрела на экран, и лицо у неё на секунду стало другим — собранным, деловым, как у человека, которого вызвали к доске.

— Да, Олежек. Да. Она здесь. Нет, всё в порядке, сейчас подпишем. — Пауза. — Я же сказала, в порядке. Целую.

Она положила телефон экраном вниз и снова улыбнулась мне.

— Беспокоится, — сказала она. — Мужчины всегда беспокоятся о том, в чём ничего не понимают.

Кирилл за стойкой с грохотом поставил питчер в раковину. Я посмотрела на него. Он посмотрел на кофемолку.

— Он теперь только кофе варит, — сказала Татьяна Михайловна, не оборачиваясь, как будто у неё были глаза на затылке. — Бумаги я забрала. Ему так спокойнее. Правда, Кирюша?

— Правда, мам.

Потом она открыла первую папку.

— Тут протокол общего собрания, по распределению прибыли за первый квартал. Тут согласие на договор аренды, мы продлеваем на три года, арендодатель не поднял, представляешь? И тут акт сверки, это просто для порядка. Где галочки — подпись.

Галочки были карандашом. Я подписала, не читая.

Я всегда подписываю у Татьяны Михайловны, не читая. Это как подписывать открытку дальней родственнице: текст ты знаешь заранее, а от подписи никто ничего не ждёт. Я ставила подпись, она забирала лист, я ставила следующую. Шесть подписей. Три минуты.

— Вот и всё, — сказала она и закрыла папку. — Видишь, а ты каждый раз приезжаешь, как на экзамен.

— Я не как на экзамен.

— Как на экзамен, Верочка. У тебя лицо такое. Расслабься, это же кофейня. Тут кофе, а не банк.

Я расслабилась. Я пила слишком горячий флэт уайт и смотрела в окно на реку. На том берегу у эллингов кто-то спускал на воду узкую лодку-одиночку. Лодка была белая, человек в ней — в красном.

Я посчитала гостей. Просто так, я всегда считаю. В зале, кроме нас, сидело девять человек. За два часа, что я там была, зашли ещё двадцать три — кто-то брал навынос, кто-то садился. Я видела экран кассы, когда Кирилл пробивал чек мужчине в спортивном костюме: итог дня к трём часам — сорок семь тысяч триста. Средний чек в «Двух вёслах», если верить меню над стойкой, был рублей триста пятьдесят.

Цифры ничего не значили. Может быть, утро выдалось удачным. Может быть, приходил автобус с туристами. По субботам в Ключевск иногда приходят автобусы, хотя смотреть здесь, кроме моста и эллингов, нечего.

Я допила кофе и ни о чём не спросила.

* * *

Кирилл проводил меня до вокзала. Мы шли по набережной, мимо закрытого летнего кафе с перевёрнутыми стульями, мимо памятника какому-то купцу, у которого голуби сидели на голове и на вытянутой руке.

— Мама говорит, ты похудела, — сказал Кирилл.

— Мама всегда так говорит.

— Я ей говорю, это Гавань. Там ветер всё сдувает.

— Наверное.

Он помолчал. Мы прошли ещё квартал.

— Как там? Нормально?

— Нормально.

— Работа нормальная?

— Хорошая работа.

— А вообще? Ну. Вообще.

— Кирилл.

— Да. — Он кивнул, сам себе. — Да. Ладно.

У вокзала он достал из кармана куртки бумажный пакет, свёрнутый трубочкой.

— Новая обжарка. Эфиопия. Скажешь потом, как тебе.

— Скажу.

— Ты всегда говоришь «скажу» и никогда не говоришь.

— В этот раз скажу.

Он улыбнулся — криво, одной стороной, той, где плечо ниже. Часы на вокзале показывали без четырёх пять, значит, было ровно пять. Электричка уже стояла.

В вагоне было почти пусто. Я села у окна, положила пакет с кофе на соседнее сиденье и не открыла его. Сосняк за окном был тёмный, почти чёрный, и только у самой земли, где кончались стволы, светилась полоса неба.

Шесть лет назад «Двух вёсел» не было. Была заброшенная лодочная станция с выбитыми окнами и Кирилл с перевязанным плечом, который не знал, что делать с жизнью, если в ней нет воды. Я тогда только начала работать в банке и откладывала каждую премию — на квартиру, как мне казалось. Он показал мне станцию в марте, по колено в снегу, и сказал: «Здесь будет кофейня. Окна на реку. Весло под потолком». Я отдала ему всё, что накопила. Татьяна Михайловна добавила остальное и настояла, чтобы мою долю оформили как положено, через нотариуса. «Деньги любят порядок, Верочка», — сказала она тогда. Я была ей благодарна.

Когда мы с Кириллом расстались, я могла забрать долю. Он предлагал. Татьяна Михайловна предлагала — даже нашла оценщика. Я сказала, что подумаю. Я думаю до сих пор.

Телефон завибрировал, когда поезд вышел к заливу. Вячеслав: «У нас дождь. Зонт на вашем стуле. На всякий случай. В понедельник».

Я улыбнулась стеклу. В стекле улыбнулась женщина с собранными светлыми волосами и усталым лицом. Татьяна Михайловна была неправа. Я не похудела. Я просто плохо спала.

* * *

Дома я поставила чайник, сняла линзы и легла на диван, не раздеваясь. Краны за окном светились жёлтым. Один, крайний, медленно поворачивал стрелу, будто показывал кому-то дорогу.

В десять пришло сообщение. Кирилл.

«Мама просит подписать до пятницы ещё один протокол, пришлю курьером. Не читай, там стандарт».

Я ответила: «Хорошо».

Потом встала, взяла ноутбук и открыла папку, которая называлась «Отпуск-2». Я долго на неё смотрела. Не открывала, просто смотрела на жёлтый значок и на название.

Отпуска номер один у меня не было.

Глава 3. Белые камни

Бахметьев вызвал нас вдвоём в понедельник, в восемь пятнадцать. Я пришла в восемь десять. Громов — в восемь четырнадцать. Мы сели по разные стороны длинного стола, и между нами оказалось шесть пустых стульев.

— Санаторий «Белые камни», — сказал Бахметьев. Он не садился. Он вообще редко садился при подчинённых, как будто стул лишал его роста. — Побережье, три часа на юг. Сменился финансовый директор. Новая подозревает, что старый оставил ей сюрприз. В сентябре у них выездная проверка. Им нужно знать раньше налоговой, что налоговая найдёт.

— Налоговые риски — моя группа, — сказал Громов.

— Поэтому вы здесь. А Лескова — потому что сюрприз, скорее всего, не в налогах. — Бахметьев посмотрел на меня. — Вы хорошо раскопали зубы.

— Коронки.

— Коронки. Едете в четверг, возвращаетесь в субботу. Билеты у Инги.

Он вышел. Шесть пустых стульев остались между нами.

— Вы хорошо раскопали зубы, — сказал Громов, глядя в окно.

— Коронки.

— Я знаю. Я читал.

Он встал и ушёл, а я ещё минуту сидела и смотрела на дверь. Мне показалось, что, выходя, он дёрнул углом рта. Но я сидела сбоку и могла ошибиться.

* * *

Вячеслав узнал раньше, чем я успела рассказать. Он всегда узнавал раньше.

— «Белые камни», — сказал он в среду, ставя на мой стол термос. — Там в столовой лучшая рыба на побережье и самый плохой интернет. Берите бумажные копии всего, что можно. И вот.

— Что это?

— Чай. С чабрецом. У Громова в поезде никогда нет чая, он считает, что брать с собой чай — это слабость. А вам ехать три часа.

Термос был его, с китом на боку. Кит улыбался и пускал фонтан в форме сердечка — наклейку явно выбирал ребёнок.

— Это племянница, — сказал Вячеслав, проследив мой взгляд. — Ей шесть. Она считает, что киты — это рыбы, и её невозможно переубедить. Я перестал пытаться.

— А мне вернуть?

— Вернёте, когда кончится чай.

Я подумала, что он заботится обо всех. Что он, наверное, и Громову когда-то давал этот термос, и Марине, и Инге с тремя серьгами. Это было нормальное, разумное объяснение. Я им и пользовалась.

* * *

В четверг в семь утра Громов стоял на перроне с одним рюкзаком и бумажной газетой под мышкой. Пальто, джинсы, кроссовки. Без галстука он выглядел моложе и злее.

— Доброе утро, — сказала я.

— Утро, — согласился он.

Места у нас были напротив, у окна, в полупустом вагоне дневного поезда. Первый час он молчал. Открыл ноутбук, надел наушники и работал, иногда хмурясь в экран. Я тоже открыла ноутбук и тоже работала. За окном шли дачи, потом поля, потом опять залив — серый, плоский, с белыми гребешками у берега.

Через час он снял наушники, закрыл ноутбук и развернул газету. Не на первой странице — сразу на последней, где кроссворд.

— Кто сейчас покупает газеты? — спросила я.

— Я. Ради кроссворда. Там всегда есть слово, которого я не знаю. Это полезно. — Он щёлкнул ручкой. — Приток Енисея, пять букв.

— Кан.

— Три буквы.

— Тогда не знаю.

— Видите. Полезно. — Он вписал что-то, посчитал клеточки, стёр. Ручка была стираемая, с ластиком на колпачке. — Слава говорил, что я вас напугал.

— Когда?

— В лифте. Он говорит, у меня в лифте лицо, как у человека, который сейчас всех уволит.

— Вы не напугали.

— Хорошо.

— Слава говорил, что у вас нет чувства юмора.

— Слава так не говорил. — Громов поднял глаза от кроссворда. — Слава говорил, что его видели только свои. Это разные вещи.

— А я?

— Вы пока на проверке.

Он сказал это без улыбки, и я не поняла, шутка это или нет. Потом поняла, что именно в этом и была шутка, и засмеялась с опозданием, когда он уже снова смотрел в газету. Он не поднял головы, но угол рта дёрнулся.

Я достала термос и два бумажных стаканчика — их тоже положил Вячеслав, в боковой карман сумки, я нашла только утром.

— Чай будете?

Громов посмотрел на термос. На кита.

— Это Славин кит.

— Он сказал, у вас в поезде никогда нет чая.

— У меня никогда нет чая, — сказал Громов, — потому что Слава всегда даёт свой.

Он взял стаканчик. Пил медленно, держа обеими руками, хотя в вагоне было тепло. Я смотрела на его руки. Левая лежала поверх правой. На безымянном пальце левой руки была тонкая белая полоска — от кольца, которое, видимо, долго носили и недавно сняли. Я подумала про Волкову, хотя никакой Волковой тогда в моей жизни ещё не было. Просто так устроена память: она складывает похожие вещи в одну коробку, не спрашивая, в каком они году.

Он заметил, куда я смотрю. Убрал левую руку под стол.

— Было, — сказал он. — Прошло.

— Я ничего не спрашивала.

— Вы посмотрели. У вас взгляд, как будто вы ставите галочку.

— Профессиональное.

— Я знаю. — Он допил чай и смял стаканчик. — У меня тоже.

* * *

«Белые камни» оказались длинным белым зданием семидесятых годов на сосновом склоне над морем. Над входом — мозаика: рыбы, солнце, загорелая женщина в купальнике с веслом. Весло было синее. Я смотрела на него дольше, чем нужно.

Камни внизу, на пляже, действительно были белые — гладкие, большие, как черепа. Между ними росла жёсткая трава. Пахло хвоей, йодом и, со стороны столовой, жареной рыбой. Вячеслав был прав насчёт рыбы и насчёт интернета: телефон показывал одну полоску, и та иногда исчезала.

Новый финансовый директор, Ирина Олеговна, встретила нас в холле. Сорок с небольшим, короткая стрижка, в руках — три телефона, и все звонили. Она нервничала так, что это

было видно по почерку: на листке с паролями от бухгалтерской программы буквы прыгали, как на кардиограмме.

— Я здесь два месяца, — сказала она, пока мы шли по коридору с красной ковровой дорожкой. — Я не понимаю половину проводок. Предыдущий директор ушёл в никуда, телефон не берёт. Владелец живёт в другой стране и хочет только одного — чтобы в сентябре всё прошло тихо. Я не хочу садиться за чужое.

— Никто не хочет, — сказал Громов.

Нам выделили кабинет бывшего главного бухгалтера на третьем этаже административного корпуса. Окно на море, два стола, старый сейф, выкрашенный зелёной масляной краской, и календарь за прошлый год на стене — с котятами. Котят никто не снял.

Мы работали до вечера. Громов смотрел налоговые декларации и договоры, я — первичку. К шести стало понятно, что налоги санаторий платил исправно, даже с запасом. Это было странно. Люди, которые воруют, обычно не переплачивают налоги.

— Выручка выше, чем у соседей, — сказал Громов, листая сводную таблицу. — Сильно выше. Я смотрел открытые данные по двум пансионатам рядом. Номеров у них примерно столько же, цены такие же. А выручка у «Камней» на сорок процентов больше. Круглый год. Даже в феврале.

— Кто ездит в феврале в санаторий на холодном море?

— Вот и я спрашиваю.

Около семи мы вышли на воздух — у меня от цифр начинало стучать в висках, а Громов сказал, что если ещё раз увидит слово «сальдо», то выбросится в окно, и окно, к сожалению, открывается.

К пляжу вела деревянная лестница, сто двенадцать ступенек. Я посчитала, он заметил и ничего не сказал. Внизу было ветрено и пусто. Белые камни лежали плотно, один к одному, и между ними шипела вода.

Громов поднял плоский камень, взвесил на ладони и бросил вдоль волны. Камень подпрыгнул три раза и утонул.

— В детстве было семь, — сказал он. — С возрастом теряешь форму.

— Или море другое.

— Море всегда другое. Это удобное оправдание. — Он поднял ещё один, протянул мне. — Почему судебная бухгалтерия?

Я взяла камень. Он был тёплый от его руки и холодный с другой стороны.

— Мне нравится, когда вещи признаются.

— А люди?

— Люди реже.

Я бросила. Камень ушёл в воду сразу, без единого прыжка, с коротким глупым звуком. Громов посмотрел на круги и кивнул, как будто я сказала что-то, с чем он согласен.

— Честно, — сказал он.

Мы постояли ещё минуту и пошли наверх. Сто двенадцать ступенек. На восьмидесятой я остановилась отдышаться, и он остановился тоже, на ступеньку выше, и не сказал ничего, и это было хорошее молчание — первое за весь день.

Я пошла в столовую, взяла две порции рыбы — треска, жареная, с картошкой, — и принесла наверх. Мы ели прямо над документами, отодвинув их на край стола. Рыба и правда была лучшая на побережье. Громов ел быстро и аккуратно, как человек, который много лет ел над бумагами и научился не ронять.

— Дайте мне договоры с прачечной, — сказала я.

— Зачем?

— Самые честные документы в любой гостинице — прачечная. Гостя можно выдумать. Но простыню, на которой он якобы спал, надо постирать. А стирку оплачивают по весу.

Он посмотрел на меня секунду дольше, чем нужно. Потом встал и пошёл к Ирине Олеговне за договорами.

* * *

Прачечная была сторонняя, в соседнем посёлке. Акты приходили каждый месяц: столько-то килограммов постельного белья, столько-то полотенец, столько-то халатов. Я разложила их по месяцам, Громов достал из программы отчёты о загрузке: сколько номеров было занято, сколько ночей прожито.

Дальше была простая арифметика. Комплект постельного белья на одного человека весит около полутора килограммов. Меняют его раз в три-пять дней и при выезде. Я построила таблицу на листе бумаги — от руки, потому что ноутбук сел, а розетка в кабинете была одна, и в неё был включён чайник.

Летом всё сходилось. Июль, август — ночи и килограммы шли рядом, как двое на прогулке.

Зимой — нет. В январе санаторий отчитался о двух тысячах ста гостевых ночах. Белья за январь постирали на девятьсот. В феврале — тысяча девятьсот ночей и белья на восемьсот. В марте почти то же самое.

Больше тысячи человек каждый месяц спали в «Белых камнях» на простынях, которые никто не стирал.

— Мёртвые души, — сказал Громов, глядя на мой листок. — Только не крестьяне, а постояльцы. Чичиков бы обзавидовался: тут даже ревизская сказка не нужна, хватает кассового отчёта.

Мёртвые гости, подумала я. Тысяча мёртвых гостей в месяц. Они заезжали, платили, жили по две недели и уезжали, и никто никогда их не видел.

Громов долго смотрел на мой листок. Было уже за полночь. В здании стояла тишина — только где-то внизу бубнил телевизор охранника и время от времени булькал чайник, который мы забыли выключить из розетки.

— Обычно доход прячут, — сказал он медленно. — Показывают меньше, чем есть. А тут его рисуют. Показывают больше. И платят с этого налог. — Он поднял на меня глаза. — Кто рисует доход, с которого потом платит налог?

— Тот, кому нужно объяснить, откуда у него деньги.

Я сказала это сразу, не задумавшись. Громов не отвёл взгляда.

— Быстро вы.

— Я из банка. Это первое, чему там учат.

Мне вдруг стало холодно, хотя батарея под окном жарила, и на стекле изнутри стояла испарина. Я обхватила себя руками и сделала вид, что потягиваюсь.

— Значит, деньги через санаторий проводят, — сказал Громов. — Чужие. Выдуманные гости платят выдуманными деньгами, которые на самом деле очень настоящие. А налог — это просто цена стирки.

— Цена стирки, — повторила я. — Смешно.

— Не очень.

— Не очень, — согласилась я.

Мы ещё час собирали доказательства. Акты прачечной, загрузку, кассовые отчёты, выписку по счёту, где в зимние месяцы деньги «от гостей» приходили крупными суммами от трёх туристических агентств, о которых в интернете не было ничего, кроме адреса. Громов фотографировал страницы телефоном, я подписывала на полях карандашом номера. В час сорок он сказал: «Всё». Я сказала: «Всё».

Ни один из нас не встал.

* * *

Мы спускались по лестнице административного корпуса без пятнадцати два. Лифт на ночь отключали. Лестница была широкая, советская, с деревянными перилами, отполированными тысячами ладоней. Свет на ней работал от кнопки: нажимаешь на площадке — лампа горит минуту, потом гаснет.

Минуты не хватало на пролёт. Мы были на середине между третьим и вторым, когда свет погас.

Темнота была полная. Окна на лестнице выходили во двор, а во дворе не горело ничего. Я остановилась. Громов остановился тоже — я слышала, как он дышит, на ступеньку выше.

— Кнопка внизу, — сказал он. — На площадке.

— Я знаю.

— Тогда идите.

— Я не вижу ступенек.

— Я тоже.

Мы стояли. Я держалась за перила, и перила были тёплые, как будто кто-то только что держался за них до меня. Внизу, очень далеко, бубнил телевизор охранника. Наверху, в кабинете с котятами, наверное, всё ещё булькал чайник.

Я начала смеяться. Не знаю почему. От усталости, от рыбы, от тысячи гостей, которые спали на нестираных простынях. От того, что я знала про такие схемы больше, чем говорила, и мне было страшно, и при этом впервые за много месяцев я чувствовала себя живой — так, как бывает только когда находишь то, что прятали.

Громов засмеялся тоже. Тихо, почти беззвучно, — я скорее почувствовала, чем услышала. Как будто смех у него был только для своих, и сейчас он не успел решить, своя я или нет.

Я нащупала в темноте его руку. Левую. Она лежала на перилах, на ступеньку выше моей.

Было без пяти два. Я знала это, не глядя на телефон, — так же, как знаю каждую ночь. Через пять минут я бы проснулась, если бы спала. Но я не спала. И проверять, все ли дома, было не нужно: дома, как всегда, никого не было, а здесь, в темноте, был он.

Я поднялась на одну ступеньку и поцеловала его.

Первой. Я всегда всё делаю первой: отвожу взгляд, ухожу, целую.

Это экономит время.

Глава 4. Двести четырнадцатый

Свет включил он. Нашарил кнопку на стене, не отрываясь от меня, и лампа над площадкой загорелась — жёлтая, пыльная, в проволочной сетке. Мы стояли на лестнице, как застигнутые школьники, и щурились.

— Минута, — сказал Громов. — У нас минута, потом опять темно.

— Тогда пошли.

— Куда?

Я не ответила. Я спустилась на площадку второго этажа и нажала следующую кнопку. Потом — на первом. Он шёл следом, и я слышала, как он дышит, и мне хотелось обернуться, и я не оборачивалась.

Во дворе было темно и сыро. Сосны стояли чёрные, выше неба, и где-то за ними, внизу, ворочалось море. Жилой корпус был через двор, метров двести по дорожке из бетонных плит. Плиты лежали неровно, и на третьей я споткнулась, и он поймал меня за локоть — левой рукой — и так и не отпустил.

— Слушай, — сказал он где-то посередине дорожки. — Я, наверное, должен что-то сказать. Ну, то есть не должен, никто никому ничего не должен, но обычно в такой момент люди что-то говорят, а я понятия не имею что. Последний раз я… ладно. Это неважно. Это вообще к делу не относится. Ты замёрзла.

— Нет.

— Ты дрожишь.

— Это не от холода.

Он остановился. Посмотрел на меня — я почти не видела его лица, только светлое пятно и глаза.

— А, — сказал он. — Понятно. Хорошо. То есть… да. Хорошо.

Охранник в жилом корпусе спал над кроссвордом, положив голову на руки. Мы прошли мимо него на цыпочках, хотя могли бы пройти маршем. Мой номер был двести шестнадцатый, его — двести четырнадцатый. Ключ у него висел на деревянной груше, тяжёлой, отполированной, с цифрами, выжженными сбоку. Я запомнила эти цифры. Я всегда запоминаю цифры. Тогда они ничего не значили.

У его двери он помедлил с ключом.

— Ты уверена?

Он спросил это просто, без нажима. Не так, как спрашивают, чтобы услышать «да». Так, как спрашивают, когда готовы услышать «нет» и пойти спать.

Я взяла у него грушу и открыла дверь сама.

* * *

Номер был узкий, как пенал. Две кровати, сдвинутые вместе, тумбочка, телевизор на кронштейне, балкон с пластиковым стулом. Окно было открыто, и в комнате пахло соснами и морем. На кровати, поверх покрывала, лежало сложенное полотенце — лебедем. Кто-то в «Белых камнях» всё ещё складывал полотенца лебедями.

Громов посмотрел на лебедя, потом на меня.

— Ну, по крайней мере, это точно постирали, — сказал он, и сам засмеялся первым, и смутился, и сунул лебедя на тумбочку.

Я засмеялась тоже. А потом перестала.

Я подошла к нему и начала расстёгивать его рубашку. Пуговицы были мелкие, тугие, и пальцы у меня не слушались. На третьей я запуталась. Он накрыл мою руку своей, остановил.

— Не торопись, — сказал он. — Мы же никуда… у нас же поезд только завтра вечером.

И расстегнул остальные сам. Медленно. Глядя на меня.

Я всегда тороплюсь. Я делаю первой, чтобы не пришлось ждать, — ждать хуже всего. А он не торопился. Он снял с меня свитер, и я подняла руки, как в детстве, и на секунду оказалась в темноте шерсти, а когда вынырнула, он смотрел на меня так, будто пересчитывал. Не цифры — меня. Плечи, ключицы, родинку под левой грудью. Как будто проверял, всё ли на месте.

Он вытащил заколку у меня из волос. Волосы упали на спину, и он провёл по ним ладонью сверху вниз, долго, как гладят кошку, которую боятся спугнуть.

— Ты всегда их собираешь, — сказал он. — Я думал, они короче.

— Мешают. На работе всё время в глаза лезут, а я злюсь и начинаю считать, сколько раз поправила.

— Сейчас не работаем.

— Сейчас не считаю.

Он поцеловал меня в шею, под ухом, и у меня подогнулись колени. Это не метафора. Колени правда подогнулись, и он подхватил, и мы оказались на сдвинутых кроватях, на стыке, где между матрасами была щель, и я провалилась в неё бедром, и мы снова засмеялись. Смеяться в постели я не умела. Я думала, что это бывает только в кино.

Потом смеяться перестали.

Его руки были тёплые и сухие, и левая знала, что делает, лучше правой. Он гладил меня по животу, по бокам, по внутренней стороне бедра, и каждый раз останавливался чуть раньше, чем мне хотелось. Я выгибалась навстречу, и он улыбался мне в кожу, и ждал. Я сказала: «Пожалуйста». Как турникету. Он понял и не стал смеяться.

Когда он вошёл в меня, я зажмурилась и почему-то стала считать. Раз. Два. Привычка, я всегда считаю. Три. На четырёх я сбилась. На четырёх он поцеловал меня в губы, медленно, глубоко, и двинулся снова, и я забыла, что было после трёх.

Я не помню, сколько это длилось. Я, которая помнит, что лифт ехал двадцать две секунды. Помню, что окно было открыто и холодный воздух шёл по полу, а нам было жарко. Помню, что он всё время смотрел на меня, даже когда я закрывала глаза, — я чувствовала его взгляд веками. Помню, что в какой-то момент я перевернула его на спину и сама задала темп, и он сказал «Вера» — не «Лескова», впервые, — и голос у него сорвался. Помню, что, когда всё во мне сжалось и отпустило, я вцепилась ему в плечо, и потом на плече остались четыре маленьких полумесяца от ногтей. Утром я их посчитала.

Потом мы лежали в темноте, на стыке кроватей, и он тяжело дышал мне в волосы.

— Ты считала, — сказал он.

— Что?

— Вслух. Сначала. «Раз, два, три». Потом перестала.

Мне стало жарко лицу. Я не знала, что считаю вслух.

— Извини.

— Да нет. Это было… — Он помолчал. — Ну, не знаю. Трогательно. Как будто ты сама себе не доверяешь и проверяешь. Я бы тоже… ну то есть я так не делаю, но я понимаю.

* * *

Он, оказывается, умел говорить длинными предложениями.

Я этого не знала. На работе он говорил, как пишет протокол: тезис, вывод, точка. А в темноте двести четырнадцатого номера, на сдвинутых кроватях, он рассказывал — сбиваясь, поправляясь, возвращаясь назад, — и это было похоже на то, как человек, который долго сидел, встаёт и потягивается.

— Кроссворды — это бабушка, — говорил он. — Она жила с нами, когда мы с Соней были мелкие, Соня — это сестра, младшая, на пять лет. Родители работали, а бабушка сидела с нами и разгадывала кроссворды из «Вечёрки», знаешь, такие, на последней странице. И она всегда оставляла одно слово. Одно, которое не знала. Обводила его ручкой и говорила: «Это тебе, Тёма. Найдёшь — расскажешь». И я искал. Мне было лет восемь, интернета не было…

ну то есть был, но не у нас. Я ходил в библиотеку. Библиотекарша меня ненавидела, честно, я ей весь справочный зал перерыл. И однажды… ладно, это длинная история.

— Расскажи.

— Однажды слово было «апсида». Это такая полукруглая штука в церкви, выступ, где алтарь. Я его искал две недели. Нашёл. Пришёл домой — а бабушка в больнице. И я ей в больницу принёс бумажку, «апсида», и она… — Он замолчал. — Ну, она уже плохо понимала. Но она взяла бумажку. И держала. Вот. Поэтому кроссворды. Глупо, да?

— Нет.

— Соня говорит, глупо. Соня говорит, я разговариваю как налоговая декларация: только по существу и с приложениями. А сейчас вот… — Он засмеялся в темноте. — Сейчас приложения пошли без существа.

Я лежала на его руке. Рука затекала, я это чувствовала по тому, как он осторожно шевелил пальцами, но не убирал.

— А ты? — спросил он.

— Что я?

— Ну. Откуда ты. Почему Гавань. Почему ручки по цвету. Слава рассказывал, что ты раскладываешь ручки по цвету, он от этого в восторге, он вообще от любой системы в восторге.

— Из Ольховска. Работа хорошая. Удобно.

Он помолчал.

— Ты всегда так отвечаешь?

— Как?

— Как будто я тебя допрашиваю. Коротко, чётко, без лишнего. Как свидетель, который боится сказать что-то, что потом используют против него. — Он повернул ко мне голову. Я видела в темноте только блеск глаз. — Я не налоговая, Вер. Я просто спрашиваю.

— Я не люблю про себя.

— Ладно. — Он сказал это легко, без обиды. — Тогда я ещё про себя. У меня запас.

И рассказал про отца, который тридцать лет водил автобус по одному маршруту и знал в лицо всех пассажиров. Про Соню, которая в двенадцать лет решила стать ветеринаром и до сих пор лечит кошек и ругается на хозяев. Про квартиру на седьмом этаже, где лифт ломается каждый вторник. Про то, что он не умеет готовить ничего, кроме омлета, но омлет у него лучший в Гавани, и это не обсуждается.

Я засыпала под его голос. Я не помню, на каком слове.

Я проспала до шести утра. Не проснулась в два. Ни разу.

Это было впервые за восемнадцать лет.

* * *

Утром я ушла к себе, в двести шестнадцатый, пока он спал. Он спал на животе, обняв подушку, левая рука под ней. На плече — четыре полумесяца, розовые. Я постояла над ним минуту. Потом оделась, собрала волосы, тихо закрыла дверь. До щелчка. Потом ещё чуть-чуть.

В душе я долго стояла под горячей водой и ни о чём не думала. Это было хорошо. Это было страшно.

Завтрак в «Белых камнях» начинался в восемь. В столовой пахло кашей и вчерашней рыбой. Пенсионеры в одинаковых спортивных костюмах ели молча и сосредоточенно, как на работе. Я взяла овсянку, чай и булочку и села у окна.

Громов пришёл в восемь десять. Волосы мокрые, рубашка вчерашняя, глаза сонные и тёплые. Он поставил поднос напротив меня и улыбнулся — не углом рта, а целиком. Я впервые видела, как он улыбается целиком.

— Привет, — сказал он.

— Доброе утро.

— Ты ушла.

— Мне нужно было переодеться.

— А. Ну да. Логично. — Он сел, взял ложку, повертел. — Слушай, я тут проснулся и думал… ну, не о нас, то есть о нас тоже, но я про работу. Про вчерашнее. Ты так сразу сказала — зачем рисуют доход. Я бы, честно, минут десять тупил, а ты прямо… сразу. У тебя в банке такой клиент был? Ну, похожий?

— Был.

— И чем кончилось?

Я посмотрела на солонку. Она стояла с его стороны, у самого края подноса.

— Передайте, пожалуйста, соль.

Он замер с ложкой в руке.

— Передайте?

— Артём, — сказала я. Тихо, ровно, как говорят с клиентом, который требует невозможного. — Давайте договоримся. Здесь мы работаем. В понедельник мы будем работать в Гавани. Это разные вещи. То, что было ночью, и то, что сейчас.

Он долго смотрел на меня. Потом взял солонку и поставил передо мной. Аккуратно, точно посередине.

— Хорошо, — сказал он. — Лескова.

И его лицо закрылось.

Я посолила кашу, которую никогда не солю. Я не смешиваю работу и личное. Это хорошее, взрослое правило, у многих оно есть. Я повторила его себе три раза, пока ела, и на третий раз почти поверила.

* * *

Остаток субботы мы работали. Громов был безупречен: точен, вежлив, сух. Ирина Олеговна, когда мы разложили перед ней акты прачечной и таблицу ночей, сначала побледнела, потом заплакала — тихо, без всхлипов, просто слёзы текли, а она продолжала держать ручку. Громов подвинул ей бумажный платок, не прерывая объяснения. Объяснял он ровно, по пунктам: что это значит, что будет, если найдёт налоговая, что будет, если найдёт кто-то другой, что ей делать в понедельник. Он ни разу не посмотрел на меня.

Я была ему благодарна. И мне было больно. Оба чувства умещались во мне одновременно, не мешая друг другу, как два документа в одной папке.

В поезде он сел напротив, как вчера, открыл ноутбук и надел наушники. Через час заснул, привалившись головой к окну. Газета лежала на столике между нами, сложенная на кроссворде. На полях, его наклонным почерком, было вписано: «Сисим». И обведено.

Приток Енисея, пять букв. Он нашёл слово, которого не знал.

Я отвернулась к окну и до самой Гавани смотрела на залив.

* * *

В Гавани шёл дождь. Тот самый, косой, висящий. Поезд пришёл в девятнадцать сорок, и на перроне под большим чёрным зонтом с деревянной ручкой стоял Вячеслав.

— Я за китом, — сказал он сразу, ещё до того, как я сошла со ступеньки. — Нет, правда, вы не подумайте, я просто был рядом. Ну, не совсем рядом, на Портовой, у Галины Петровны, она сегодня, представляете, работала в субботу, у них квартальная отчётность горит, и она попросила подвезти ей пакет документов, лично, потому что курьерам она не доверяет, у неё был случай в девятом году… неважно. Я подумал, у вас тут дождь, а зонт у меня, а у вас нет, и это как-то нелогично, когда зонт есть, а человек под дождём, и я…

Он посмотрел на меня.

И замолчал. На середине фразы.

Я не знаю, что он увидел у меня на лице. Я сама его в тот момент не видела. Потом из вагона вышел Громов, с рюкзаком, с газетой под мышкой, и Вячеслав перевёл взгляд на него, а потом снова на меня.

— Привет, Слав, — сказал Громов.

— Привет.

Вячеслав улыбнулся. Широко, очень широко, шире, чем умел.

— Ну что, — сказал он, — рыба была хорошая?

Он держал зонт над нами обоими, а сам стоял под дождём. Я заметила это только потом, в такси, когда вспоминала. Вячеслав никогда не замолкает на середине фразы. У него для этого слишком много скобок.

Глава 5. Посадка

Всё было как всегда. Я очень старалась, чтобы всё было как всегда.

В понедельник я пришла в восемь сорок. Сказала турникету «пожалуйста». Налила себе чай, который кофемашина выдала вместо американо. Села за стол у окна, рядом с полуживым цветком, и полила его.

Громов пришёл в девять ноль две. Он прошёл мимо моего стола, не замедляя шага, кивнул — так кивают коллеге из соседнего отдела, имени которого не помнят, — и скрылся в третьей переговорной. Стекло там было прозрачное. Я видела, как он снимает пальто, закатывает рукава, левый выше правого, и берёт маркер.

Я отвернулась к заливу. Краны отсюда были маленькие, как скрепки.

Он подошёл ко мне только в среду, на кухне. Я стояла у кофемашины и ждала, когда она закончит делать вид, что готовит американо. Он вошёл, налил себе воды из кулера, выпил. Налил ещё. Встал рядом, не глядя на меня.

— Вер, — сказал он тихо. — Слушай. Я не… я не собираюсь ничего такого, ну, устраивать. Сцены. Я взрослый человек. Если ты решила, что это ошибка, просто скажи, и всё, и я нормально, честно, я переживу, я, знаешь, не первый раз… то есть не в этом смысле не первый, а вообще. Просто я не люблю гадать. У меня на работе хватает гадания, я каждый день гадаю, что подумает инспектор, а тут ещё и… — Он остановился. Поставил стакан. — В общем. Скажи что-нибудь.

Кофемашина пискнула. В стаканчике был чай.

— Это не ошибка, — сказала я.

— Тогда что?

— Просто… не сейчас. Мне правда нужно немного времени, я сама толком не понимаю, на что.

— А когда?

— Я скажу.

Он кивнул. Медленно, будто записывал. Потом взял стакан и ушёл, и у двери обернулся, и мне показалось, что он хочет что-то добавить. Он не добавил.

«Ты всегда говоришь "скажу" и никогда не говоришь». Это сказал мне Кирилл, на вокзале в Ключевске, в мае. Я вспомнила это на кухне, глядя на чай, который просила быть американо, и мне стало неприятно, что Кирилл был прав, и ещё неприятнее, что я вспомнила об этом именно сейчас.

* * *

Июль в Гавани светлый. Темнеет к одиннадцати, а в полночь небо над заливом ещё зелёное, как бутылочное стекло. Город не спит, потому что не понимает, что пора. Чайки орут до двух. Я просыпалась в два, как всегда, — привычка вернулась на следующую же ночь после «Белых камней», будто обиделась, что её бросили, — и чайки ещё орали.

Громов перестал подходить через неделю. Он не обиделся — или не показал. Он просто снова стал крышкой ноутбука: вежливый, точный, на «вы». На планёрках он обращался ко мне по фамилии. Однажды, в лифте, мы снова ехали вдвоём семь этажей, и он смотрел на табло, а я на свои ботинки, и никто из нас не сказал ни слова. Двадцать две секунды. Я посчитала.

Вячеслав тоже изменился. Я заметила это не сразу.

Он по-прежнему обедал со мной по вторникам и четвергам. Но теперь, если на кухне был кто-то ещё, он садился не рядом, а через стул. Он по-прежнему рассказывал про Галину Петровну и её фиалки, но короче, без отступлений, будто кто-то урезал ему скобки. В понедельник после поездки он забрал у меня кита — термос, вымытый, с остатками запаха чабреца,

— сказал «спасибо» и не спросил, как прошла командировка. Вячеслав, который спрашивал, как прошли выходные у курьера.

А по вторникам на моём столе появлялся капучино. Утром, до моего прихода. Стаканчик с крышкой, ещё тёплый. Без записки. Я знала, от кого. Но самого Вячеслава по вторникам утром на кухне больше не было — он приходил позже, к десяти, и здоровался со мной издалека.

Я решила, что он обиделся. Что он видел на перроне то, что видел, и теперь ревнует — по-дружески, как ревнуют друзья, когда у тебя появляется кто-то важнее. Что ему неприятно. Что он держит дистанцию, чтобы я почувствовала.

Это было логичное объяснение. У меня всегда есть логичное объяснение.

Однажды, в конце второй недели, я застала их вдвоём на кухне. Был поздний вечер пятницы, этаж почти опустел. Вячеслав сидел на подоконнике с термосом, Громов стоял у кулера, и Вячеслав что-то рассказывал — длинно, размахивая свободной рукой, с теми самыми отступлениями, которых мне в последние дни не доставалось.

— …и она говорит: «Вячеслав Ильич, я двадцать лет в инспекции, и я впервые вижу, чтобы человек принёс мне документы, скреплённые скрепками в цвет обложки». А я говорю: «Галина Петровна, это не я, это стажёр, у него синдром». А она говорит: «Какой синдром?» А я говорю: «Синдром отличника, он заразный, я сам им болею с первого класса», — и она… Тём, клянусь, она улыбнулась. Я видел. У неё дёрнулась щека. Я три года ждал.

Громов засмеялся. Не углом рта — по-настоящему, запрокинув голову, так, как смеялся в двести четырнадцатом номере, в темноте, когда рассказывал про бабушкины кроссворды. Я стояла в дверях и слышала этот смех, и мне было обидно, что он достаётся не мне.

Потом они увидели меня. Оба замолчали. Сразу, одновременно, как выключенные.

— Вера, — сказал Вячеслав. — А мы тут… про инспекцию.

— Я за водой.

Я набрала воды и вышла. За спиной было тихо, пока я не дошла до своего стола. Потом кто-то из них что-то сказал вполголоса, и второй ответил, и я не разобрала слов.

Я решила, что они говорили обо мне. Это тоже было логично.

* * *

Лиза позвонила в субботу вечером, когда я сидела на подоконнике с ногами и смотрела, как крайний кран медленно опускает на баржу какой-то контейнер. Лиза — моя подруга со школы, из Ольховска. Она живёт там до сих пор, работает в районной больнице, растит двух мальчишек и звонит мне раз в неделю, по субботам, когда мальчишки спят. Она единственный человек, который знает про меня больше, чем я рассказываю. Не потому, что я рассказываю ей больше. Просто она умеет слышать то, чего я не говорю.

— Ну, — сказала Лиза. — Рассказывай.

— Да нечего особо рассказывать, Лиз. Съездили, поработали. Санаторий, рыба.

— Вер. Ты две недели назад была в командировке на море с мужиком, про которого мне до этого уже три раза писала, что он левша и пишет буквы задом наперёд. И теперь «нечего рассказывать».

— Я писала один раз.

— Три. Я посчитала. Ты меня научила.

Я засмеялась. Кран опустил контейнер на баржу и замер.

— Мы переспали, — сказала я.

— Ну наконец-то.

— И я сказала ему, что это работа.

— В смысле — работа?

— В смысле, что на работе мы работаем. А личное — отдельно.

Лиза помолчала. Я слышала, как у неё на кухне капает кран. Лиза уже год собиралась его починить.

— Вер, — сказала она. — Ты с ним спала и теперь делаешь вид, что его нет. Так?

— Ну не то чтобы вид. Мы же работаем вместе, я его каждый день вижу.

— А как?

— Я сказала, что потом поговорим. Когда-нибудь.

— Когда — потом?

— Не знаю.

— Ты опять отвечаешь, как будто я тебя в полиции допрашиваю, — сказала Лиза. — Коротко, чтобы не к чему было придраться. Ты всегда так, когда врёшь. Или когда боишься. Я с девятого класса не могу различить.

— Я не вру.

— Значит, боишься. — Она вздохнула. — Чего?

Я смотрела на кран. Кран смотрел на баржу. Где-то внизу, во дворе, кто-то выбивал ковёр, и звук шёл ровный, тупой, как пульс.

— Он налоговик, Лиз, — сказала я.

— И что?

— Ничего. Просто налоговик.

— Вер, я тебя не понимаю. Ты сама почти налоговик.

— Да, — сказала я. — Я знаю.

Лиза ещё что-то говорила — про то, что мне двадцать девять, а не девятнадцать, что так можно всю жизнь простоять у окна, что её Петька в садике влюбился в воспитательницу и подарил ей камень, — а я смотрела на кран и думала, что Лиза, как всегда, права, и что я, как всегда, ничего с этим не сделаю.

* * *

Вечерами я задерживалась на работе.

Я говорила себе, что дописываю отчёт по «Белым камням». Отчёт я дописала за два дня. Я говорила Вячеславу, когда он, уходя, спрашивал: «Опять допоздна?» — что у меня хвосты по автомойкам. Хвостов не было. Мне просто нравилось оставаться в пустом офисе, когда за окном светло, а внутри никого, кроме меня и гудящей кофемашины, и Бахметьева, который сидел в своём кабинете за закрытой дверью и тоже, видимо, не хотел домой.

В одну из таких сред, в середине июля, я открыла выписки «Двух вёсел».

Как участник общества я имею право запрашивать документы о его деятельности. Я запросила за полтора года: банковские выписки, кассовые отчёты, отчёты эквайринга — это когда платят картой. Татьяна Михайловна прислала всё через два дня, с припиской: «Верочка, зачем тебе это, там всё скучно» — и смайликом, который улыбался во весь рот.

Я села с выписками, как садилась с санаторием. Не потому что что-то подозревала. Просто «Белые камни» не отпускали — простыни, которые никто не стирал, гости, которых никто не видел. После такого начинаешь смотреть на любую кассу с вопросом. Профессиональная деформация. Так я себе это объясняла.

Сначала я посчитала посадку. Восемнадцать мест в зале. Шесть на террасе, но терраса работает с июня по сентябрь. Кофейня открыта с восьми до девяти вечера. Средний чек — около трёхсот пятидесяти. Даже если бы «Два весла» были набиты с утра до вечера, каждый день, без выходных, с очередью на набережной, — выручка за месяц не могла быть такой, какой была. А она такой была. Каждый месяц. И в январе, когда на набережной лёд, а туристов в Ключевске нет совсем, она была почти такой же, как в июле.

Как в «Белых камнях». Летом сходилось, зимой — нет. Мёртвые гости. Только теперь они пили кофе в кофейне, где у меня была доля.

Потом я посмотрела, как люди платят. Картой — шестьсот, семьсот тысяч в месяц. Нормальные деньги для маленькой кофейни на реке. А наличными — почти два миллиона. Три

четверти выручки. В городе, где даже бабушки на рынке принимают переводы по номеру телефона.

Наличные сдавались в банк каждый понедельник. Круглыми суммами. Триста тысяч. Четыреста. Четыреста пятьдесят. Сдавала их Ярцева Т. М. — так было написано в выписке, в графе «вноситель».

Я сидела над таблицей долго. За окном небо над заливом было зелёным, потом синим, потом снова зелёным. Бахметьев ушёл в девять, сказал мне от двери: «Не засиживайтесь», — и я сказала: «Да, сейчас». Кофемашина отключилась сама, по таймеру, с длинным вздохом.

Я впервые увидела это тогда. В июле. В пустом офисе, при свете, который не хотел уходить.

И, честно говоря, я почувствовала что-то похожее на гордость. Не страх — страх пришёл позже. Сначала было это: я нашла то, что прятали. Как с полоской картриджа. Как с коронками. Как с простынями. Цифры признались мне, а не кому-то другому.

* * *

На следующий день, в четверг, я подсела к Вячеславу на обеде. Он ел гречку с курицей — курицей, значит, грибы в столовой кончились, — и читал что-то в телефоне.

— Слав, — сказала я. — Можно тебя спросить гипотетически?

Он поднял глаза. Вилку не опустил.

— Гипотетически — можно. Гипотетически я вообще очень сговорчивый.

— Маленькая кофейня. Восемнадцать мест. Наличные — семьдесят пять процентов выручки. Сдаются в банк раз в неделю, круглыми суммами. Выручка не зависит от сезона. Что бы ты подумал?

Он отложил телефон. Помолчал.

— Гипотетически, — сказал он, — я бы подумал,что у гипотетической кофейни есть очень щедрый гипотетический друг, который приносит ей наличные. А кофейня потом отдаёт их обратно, только уже чистые, через какую-нибудь гипотетическую фирму, которая продаёт ей, например, кофе по цене трюфелей. Или оказывает консультационные услуги. Консультационные услуги — это вообще прекрасно, их невозможно пощупать. — Он покрутил вилку. — Я бы подумал, что налог с этих денег — это просто плата за стирку. И что налоговая такие вещи видит, если смотрит. Она не всегда смотрит. Но когда смотрит — видит. У Галины Петровны, кстати, был такой случай, с пекарней, в позапрошлом году, там пекарня продавала…

Он остановился. Посмотрел на меня.

— Это гипотетическая кофейня?

— Да.

— Хорошо. — Он снова взял телефон, но не стал в него смотреть. — Тогда гипотетически я бы на месте гипотетического участника этой кофейни больше ничего не подписывал, не читая.

Он сказал это спокойно и без улыбки, глядя не на меня, а в окно, на залив. Мне стало холодно. Я решила, что это от его тона — ровного, чужого, как у Громова в столовой «Белых камней». Я решила, что он всё ещё обижен. Что ему неприятно со мной разговаривать.

Это тоже было логичное объяснение.

Вечером я пришла домой, открыла ноутбук и сохранила таблицу. В папку «Отпуск-2». Назвала файл просто, чтобы не путаться: «ДВ_нал_безнал».

* * *

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОЙ (фрагмент)

Подозреваемая: Лескова Вера Сергеевна.

Допрос проводит следователь Волкова Е. А.

В

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.